

1990 г. он ответил: «Мне нелегко изложить свое лингвистическое кредо. Я не скрываю, что в своих историко-лингвистических взглядах придерживаюсь пражской теории литературного языка. Впрочем, я не теоретик, а исследователь, который с удовольствием погружается во все многообразие обращавшихся у славян текстов, но отнюдь не всегда стремится подключить прочитанное к определенной теоретической модели». Что ж, эти строки — отчетливая позиция. Пусть, таким образом, о концепции Г. Кайперта касательно истории русского литературного языка, — а она, вне всякого сомнения, очень интересна, плодотворна и перспективна, — читатель сам судит по его нижеприведенной обстоятельной статье.

Статья публикуется по инициативе редколлегии журнала «Вопросы языкознания». Для перевода на русский язык Г. Кайперт выбрал именно ее. Перевод осуществила аспирантка Института русского языка АН СССР Л. П. Медведева (под моей редакцией). Г. Кайперт ознакомился с ним и его авторизовал.

Верещагин Е. М.

КАЙПЕРТ Г.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

На вопрос о том, какие задачи подобает решать истории языка как научной дисциплине, в русистике отвечают по-разному. Впрочем, сегодня, пожалуй, почти все согласны с тем, что следует различать и с т о р и ч е с к у ю г р а м м а т и к у русского языка как его внутреннюю историю и историю языка в узком смысле как частную дисциплину, занимающуюся прежде всего внешними условиями развития русского литературного языка¹. Но о конкретном наполнении последней все еще имеются значительные расхождения во мнениях. Так, советские учебники под названием «История русского литературного языка» традиционно исследуют — как правило, в хронологической последовательности — язык главным образом тех текстов, которые рассматриваются и в обычных курсах истории русской литературы. При этом прежде всего принимается во внимание роль поэтов, писателей и публицистов в обогащении и стабилизации норм русского литературного языка. Эта точка зрения была недавно еще раз подробно обоснована². Тщательное комментирование языка и стиля как можно большего числа произведений русской литературы, начиная с ее истоков и до современности, может быть весьма интересным и ценным, однако этот путь оказывается непродуктивным, если мы хотим выяснить, когда и каким образом русский язык приобрел те отличительные черты, которые в современной лингвистике связываются с понятием «литературный язык»

© Keipert H. Die Christianisierung Rußlands als Gegenstand der russischen Sprachgeschichte // Tausend Jahre Christentum im Rußland. Zum Millennium der Taufe der Kiever Rus' / Hrsg. von Felmy K. Ch., Kretschmar G., von Lilienfeld F., Roepke C. - J. Göttingen, 1988. S. 313—346.

¹ Может показаться, что этому утверждению противоречат опубликованные в последнее время учебники, в которых сделана попытка слить обе области (ср. [1—3]). Между тем не случайно такие труды появляются только за пределами СССР и адресуются нерусскому читателю, проявляющему интерес к истории русского языка. Кроме того, нельзя однозначно ответить на вопрос, насколько удалось это соединение.

² Ср. монографию [4] и рецензии на нее, частью одобрительные, частью скептические [5—8], а также вышедший впоследствии обобщающий труд того же автора [9], основанный на теоретических принципах предыдущей работы [4].

(или «стандартный язык»), а именно: поливалентность, стилистическую дифференциацию, кодификацию норм и их надрегиональное значение (или общеобязательность)³. Кроме того, и на вопрос (конечно, не только в связи с тысячелетием крещения поставленный): какое значение имело принятие христианства на Руси и каковы культурно-исторические последствия этого события для развития русского языка, — на этот вопрос в подобных традиционных трудах можно найти, как правило, только краткие и к тому же весьма общие ответы. Многочисленные языковые проблемы более чем тысячелетней христианской истории восточных славян находят в них весьма незначительное отражение.

Разумеется, в последние годы при описании внешней истории русского литературного языка развивались и другие концепции, авторы которых выходят за тематические рамки истории литературы и стремятся придать большее значение вопросам, относящимся прямо к лингвистике. К таким методологическим альтернативам принадлежит попытка описать языковую ситуацию средневековой Руси по образцу разработанной Ч. Фергусоном модели диглоссии и представить современный русский литературный язык как результат исторического развития ситуации двуязычия, следующего за ситуацией диглоссии [13, 14]. Как известно, эта концепция встретила не только одобрение, но и скептические возражения, и отрицание, поскольку история восточнославянской культуры обнаруживает некоторые особенности, которые вряд ли согласуются с моделью Фергусона (да и модель эта как таковая, пожалуй, слишком проста). Это, например, другие — социолингвистически релевантные — условия просвещения в Древней Руси или до сих пор не доказанное с достаточной полнотой дополнительное распределение функций между языками восточнославянской области, находящимися в диглоссийных взаимоотношениях⁴. Однако при всех возможных возражениях против этой концепции не следует забывать, что благодаря ей привлечено внимание ко многим аспектам в развитии русского литературного языка, находившимся до этого в пренебрежении, и на обширном новом материале убедительно доказана необходимость пополнения традиционного набора текстов, рассматриваемых в курсах истории русского литературного языка. Можно только приветствовать стремление к более серьезной лингвистической теории, поскольку благодаря применению такого рода социолого-типологических критериев история русского литературного языка осмысливается уже не как явление *sui generis*, а как процесс, в котором, несмотря на его историческое своеобразие, можно увидеть немало общего с историей литературных языков в других частях Европы. Так как, по теории диглоссии, церковная переводная книжность, перенесенная на Русь со славянского юга, доминировала в сложившейся языковой ситуации, от этой теории можно ожидать детальных конкретных разысканий⁵, которые позволят глубже проникнуть в языковые аспекты крещения Руси, — по сравнению с тем, что мы имеем в обычных учебниках, которые почти полностью ограничены рассмотрением восточнославянских, или русских, оригинальных произведений.

Лингвистической сопоставимости истории русского литературного

³ Ср. вслед за позицией А. В. Исаченко [10] современный взгляд на проблематику стандартного языка с той же (пражской) точки зрения [11]; и, кроме того [12].

⁴ Ср. вслед за [15] сборник [16], посвященный прежде всего этому вопросу (статьи А. А. Алексеева, Л. П. Клименко, В. В. Колесова и др.).

⁵ Ср. учебник Б. А. Успенского [17], вышедший в свет после написания этой статьи.

языка в еще большей степени может способствовать попытка последовательно интерпретировать ее, в духе пражской теории литературных языков, как историю уже упомянутых признаков, обладающих свойством обязательности для понятия «литературный язык». Это означает, что характерную для современного состояния языка поливалентность следует описывать как итог предшествующего постепенного развития полифункциональности и что нынешняя стилистическая дифференциация должна быть объяснена как продиктованный новыми функциями результат становления и разграничения специфических средств выражения. Это означает также, что современную кодификацию норм необходимо выводить из предшествующих кодификаций и что, наконец, прослеживая постепенное надрегиональное или социальное признание данных норм, из которого вытекает синхронный признак общеобязательности, можно учитывать в истории литературных языков социально-исторические факторы (ср. 118, с. 69 и сл.). Применительно к истории русского литературного языка подобное «расчленение» комплексного процесса на ряд отдельных, — а это, на первый взгляд, производит странное впечатление, — имеет по крайней мере то эвристическое преимущество, что побуждает к более тщательному анализу процессов и событий, которые в данной области имели значение для олитературивания языка. Пожалуй, можно скорее понять своеобразие каждой отдельной области и функциональной сферы с ее специфическими культурно-историческими предпосылками, особенностями развития языковых средств и характерной периодизацией, если разделить объект исследования на несколько отдельных процессов, которые четко разграничены, хотя и не протекают совершенно независимо друг от друга. Это лучше, чем давать привычное цельное изложение, построенное на движении от века к веку. Исходя из данной концепции, в истории становления полифункциональности русского языка выделяются такие сферы, как «управление, военное дело, дипломатия», «наука, ремесла и техника», «беллетристика, театр и декламация», «публицистика и публичная речь», «частные записки» или «устная речь». Среди функциональных сфер необходимо уделить особое внимание сфере «религия и церковь», тем более что она отличается от других рядом ярких особенностей:

— благодаря традиции бытования текстов, насчитывающей почти тысячу лет, церковная книжность у восточных славян засвидетельствована в глубокой древности, и притом для старшей поры самым большим числом рукописей;

— практически только в церковно-религиозной книжности одни и те же тексты употребляются до настоящего времени, модифицируясь в языковом отношении; именно здесь в новейшее время наблюдается систематическая русификация древних церковнославянских текстов, похожая на перевод;

— только в этой функциональной сфере, в православном богослужении, в России до сего дня обязательно употребление не своего языка, а именно церковнославянского, который в основе является южнославянским; во всех других сферах применения возобладали русский язык, так что процесс становления его полифункциональности завершился (ср. [19]).

Но и независимо от этих особенностей крещение Руси с его лингвистическими последствиями заслуживает большего внимания, чем ему обычно уделяется в учебниках по истории русского литературного языка.

Шесть нижеследующих тезисов отражают, на мой взгляд, взаимозависимость между развитием церковной жизни России и образованием русского литературного языка.

Историческая русистика по традиции изучает две формы языка: русский (восточнославянский народно-разговорный) язык и церковнославянский, и применение гипотезы диглоссии к культуре Древней Руси, быть может, еще более упрочило впечатление о некоем языковом дуализме. Поэтому нелишне будет с самого начала определенно сказать, что в истории Руси, при распространении христианского учения, сыграли свою посредническую роль и другие языки, которые, помимо церковнославянского, оказали влияние на образование норм восточнославянских языков.

К невыясненным проблемам истории крещения восточных славян (а из-за отсутствия источников они едва ли когда-либо прояснятся) относится вопрос о статусе греческого языка. Речь идет не о том, насколько, по предположениям, было распространено владение этим языком (о чем уже собран ряд свидетельств, ср. Э. Хёш [20, с. 250—260]), но скорее о выявлении сфер, в которых было принято употребление греческого. Нельзя точно сказать, в каком объеме (т. е. конкретно когда, где и кем) богослужение в Древней Руси совершалось по-гречески, но все же маловероятно, что греческие епископы, и тем более многочисленные греческие митрополиты, служили литургию не на своем родном языке. Из свидетельства митрополита Никифора I (или II) (ср. [21] и [22]) недвусмысленно следует, что эти архипастыри иногда даже проповеди говорили по-гречески. На греческом языке, вероятно, первоначально составлялись и многие документы митрополичьей канцелярии, которые лишь в дальнейшем были переведены на славянский язык и в таком виде дошли до нас. Небольшие фрагменты греческих записок митрополита Феоноста 1328—1347 гг. сохранились, благодаря счастливой случайности, в Ватиканской библиотеке (ср. [23]). Невозможно, далее, точно установить, в течение какого времени на Руси в церковно-правовых делах применялся греческий текст Номоканона (появившиеся же довольно рано его славянские переводы привлекались лишь для справок) (ср. [20, с. 251 и сл.]). Насколько я могу судить, первая открытая жалоба на то, что митрополиты, поставляемые от Константинополя, не владеют местным языком, появляется лишь при Василии Темном в середине XV в., в связи со спорами о политике митрополита Исидора (ср. [18, с. 81—83]).

Но христианские идеи неоднократно доходили до русской церкви и ее верующих и через посредничество западных языков. Я могу это проиллюстрировать опять-таки лишь небольшим количеством примеров. Если говорить о латини, заслуживает внимания тот факт, что в конце XV в. в Новгороде учились грамоте по латинской Псалтыри с прибавленным русским (!) подстрочным переводом. Аналогично этому в приложении к переводу грамматики Доната, сделанному Дмитрием Герасимовым в 1522 г., встречаются переписанные кириллицей латинские молитвы с параллельным русским текстом (ср. [24, 25]). Самый известный случай, конечно, тот, что для пополнения текста Ветхого Завета в Геннадиевской Библии 1499 г. среди прочих источников использовалась и Вульгата (ср. [26—28]). И все же рядом с этим единичным событием, видимо, гораздо большего внимания заслуживает преподавание догматики в духовных учебных заведениях России XVIII в. и начала XIX в., которое, несмотря на неоднократные жалобы, под влиянием киевской учебной традиции велось на латинском языке (ср. [29, 30]). На западе восточнославянской языковой области к началу XVII в. эффективным коммуникативным средством оказался польский язык, который использовался не только

для пропаганды католицизма и идеи унии, но и для защиты православия; характерно, что Петро Могила напечатал свой православный катехизис в 1645 г. в Киеве сначала на польском языке ⁶. Что касается н е м е ц к о г о я з ы к а, можно было бы упомянуть созданные в начале XVIII в. переводы церковных песнопений Е. Глюка и И. Пауза(е), которые, может быть, способствовали решению Тредиаковского применить в стихосложении на русском языке силлабо-тонический принцип ⁷. Весьма значителен, но в противоположность этому мало изучен яркий след, оставленный в России «Библейскими историями» И. Хюбнера. «Истории», переведенные на русский язык первоначально в 1770 г. (а позднее и еще раз) и издававшиеся неоднократно ⁸, использовались в качестве учебников в Петербургской Академической гимназии. Образованные русские в начале XIX в. более охотно читали Библию на ф р а н ц у з с к о м я з ы к е, чем на трудном для понимания церковнославянском, и этим объясняется, почему Российское (!) Библейское общество издало в 1815 г. Новый Завет, а в 1817 г. полную Библию во французском переводе с Вульгаты (см. [38]).

Все эти примеры должны доказать только то, что даже в той сфере, которая в рассуждениях о прошлом России обычно считается исконнейшей сферой церковнославянского языка, — даже в ней можно столкнуться с поразительным многообразием языков. Тот, кто захочет описать «языковую ситуацию» в восточнославянской области, охватит лишь часть проблемы, если ограничится известным антагонизмом между народным языком и церковнославянским.

2

Итак, своеобразный спектр — от церковнославянского до восточнославянского — историку языка лучше знаком. Но, говоря о языковых проблемах, связанных с крещением Руси, вряд ли можно утверждать, что они изучены уже достаточно. Значительные пробелы не могут не обнаруживаться хотя бы потому, что в существующей до сих пор практике написания истории русского литературного языка утвердился априорный канон изучаемых текстов, в котором переводная книжность и памятники церковно-религиозного содержания, осторожно выражаясь, недопредставлены (*unterrepräsentiert*) ⁹. Тому, кто интересуется ролью христиан-

⁶ Вышедшая в том же году украинская редакция является в значительной степени кириллической транскрипцией польского текста (ср. [31]). Ср. также напечатанное в Москве в 1649 г. церковнославянское издание катехизиса, которое рассматривают А. С. Зернова [32, с. 69, № 215] и П. Гауптман [33, с. 21 и сл.].

⁷ Ср. тексты этих песнопений у В. Н. Перетца [34, прил. с. 7—84]. Для истории лексикографии в России интересен тот факт, что И. Пауза(е) был первым составителем словаря русских рифм (1706—1708 гг.) (см. [34, с. 257, 287—289], предназначенного, вероятно, прежде всего для сочинения церковных песнопений.

⁸ См. [35], а также [36, 37]. С русского языка «Истории» в 1825 г. были переведены на болгарский.

⁹ Сколько поразительна отмеченная несоразмерность между оригинальными произведениями (которым отдается такое предпочтение в концепции А. И. Горшкова) и дошедшей в рукописной традиции письменностью, видно, например, из замечаний Н. А. Мещерского о том, что среди 1493 рукописей «Предварительного списка славяно-русских рукописей XI—XIV вв.», изданного в 1966 г., памятники восточнославянского содержания или происхождения составляют менее 1% (см. [39]). Такое же показательное суждение встречается у этого ученого и ранее [40]. По его оценкам, в архивных фондах, хранящихся в СССР, одни лишь гимнографико-литургические рукописи составляют более половины, так что этот огромный массив текстов должен был бы занять достойное место и в исследованиях по истории языка. Но этого, вследствие чрезмерного внимания к светской и (более или менее) оригинальной письменности, не произошло.

ства в истории русского языка, необходимо прежде всего выработать свой собственный взгляд на то, какие именно тексты должны быть при этом исследованы.

Хотя о языковых отношениях прошлого мы узнаем благодаря лишь письменным свидетельствам, нельзя оставлять без внимания тот факт, что во время богослужения (несмотря на наличие культовых книг) язык употребляется в устной форме. Быть может, уже в ранний период какие-то особенности отличали устную форму церковного языка от разговорного, будничного языка, но установить это нелегко, поскольку письменная традиция лишь в исключительных случаях позволяет делать выводы о фонетическом своеобразии *lectio solemnis* и литургического пения (см. [41]). Однако некоторые древние формы произношения еще сохраняются в консервативной среде староверов [42]. В некоторых русских источниках имеются даже недвусмысленные замечания о характерных особенностях произношения церковных текстов, например, в Предисловии к Псалтыри Нила Курлятева 1552 г. [43]; именно на такие свидетельства следовало бы обращать больше внимания. Нужно осознать и то, что тексты, предназначенные для домашнего круга, читались громко вслух гораздо чаще, чем мы это предполагаем, исходя из сегодняшней практики. Не так давно вновь специально было подчеркнуто [44], что в середине XVIII в. для декламации на русском языке был заимствован ряд орфоэпических норм из церковнославянской литургической традиции.

Говоря о текстах, дошедших до нас от древних времен, мы имеем в виду главным образом рукописи и лишь с XVI в. — также и печатные издания. Пока даже в первом приближении нельзя сказать, какие именно памятники из этой чрезвычайно обширной книжности имеют особое значение для оценки языковых аспектов крещения Руси. Для общей ориентации в том, какие тексты в прошлом России были наиболее важными, надо было бы иметь историю богословской (или церковно-религиозной) литературы, — но таковой пока не имеется. Основательный компендиум Г. Подскальского ограничивается, к сожалению, оригинальной письменностью Киевского периода и оставляет в стороне переводную литературу, весьма обширную и к тому же вызывающую множество затруднений у исследователя¹⁰. Между тем на перестройку языческого восточнославянского языка в духе христианства, по-видимому, повлияла в значительно большей степени именно переводная литература (это ясно уже по количеству сохранившихся рукописей), а не то небольшое число богословских трудов, которые вышли из-под пера восточнославянских авторов. Имеющийся проект «Сводного каталога славяно-русских рукописей»¹¹ дает определенное представление о характере христианской литературы, которая в Древней Руси была доминирующей. В истории русского книгопечатания вплоть до конца XVII в. также очевиден перевес книг, издаваемых для нужд церкви (см. [32]).

Обобщающая языковая характеристика этого громадного письменного наследия едва ли возможна, поскольку подробно исследованы лишь некоторые памятники и остается открытым вопрос, в какой степени полученные при этом результаты характерны для общей картины. Благодаря палеографической классификационной работе мы, пожалуй, относительно

¹⁰ См. монографию Г. Подскальского, в которой категорически исключаются из рассмотрения «многочисленные переводы (около 90% находящихся в обороте книг)» [45].

¹¹ См. [46], а также следующий том, посвященный рукописям XIV в. и в настоящее время находящийся в печати; ср. также [47].

хорошо осведомлены об особенностях графики и орфографии рукописей и печатных изданий. Немаловажно учитывать и ту информацию о фонетических (или все же частично лишь орфографических?) и морфологических особенностях многих древних текстов, которая собрана к настоящему времени в исследованиях по исторической грамматике восточнославянского, или русского, языка. Для компетентного суждения о христианском элементе в духовной культуре Древней Руси, без сомнения, необходим более основательный (по сравнению с нынешним) взгляд на лексический фонд. С помощью находящихся в нашем распоряжении словарей нельзя достаточно надежно установить, как обогатила содержание и какие выразительные возможности принесла на Русь перенятая от славянского юга христианская книжность, так как знаменитый словарь И. И. Срезневского [48] обнаруживает большие пробелы, а «Словарь русского языка XI—XVII вв.», стремившийся, как было заявлено, к более основательному описанию материала, привлек интересующую нас церковную книжность лишь в виде казуальных случайными примеров¹². «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.», который предполагает охватить всю лексику всех созданных на восточнославянской почве оригинальных и переводных текстов этого периода, как свидетельствует знакомство с его пробными статьями и первым томом, не будет идентифицировать как таковые даже явные заимствования из славянского перевода Евангелий и Апостола, так что установить, как пополнялся активный запас восточнославянских авторов, можно лишь точной перепроверкой — например, с помощью пражского «Словаря старославянского языка»¹³. «Словарь русского языка XVIII в.» обещает быть в этом отношении более точным, — правда, он опять-таки не числит среди своих источников текст Елизаветинской Библии 1751 г. (см. [55]).

Состояние лексикографии древней восточнославянской письменности можно оценить только как неудовлетворительное, и это находится в вопиющем противоречии с той уверенностью, с которой в славянской филологии ставятся и получают ответы вопросы, касающиеся значения церковнославянского языка для истории языка русского.

Один из таких вопросов, и сегодня охотно обсуждаемых, — вопрос о понятности этого языка (или текстов, составленных на нем) в Киевской

¹² Этот словарь, издающийся с 1975 г. и теперь уже насытивший 16 выпуск, был встречен по-разному (см. список рецензий в сборнике [49]), при этом высказывались и достаточно резкие упреки (в настоящее время вышло 17 выпусков. — Примеч. ред.).

¹³ Ср. [50], с. 18, примеч. 7 и, например, пробную статью *б л а г о в о л е н и е* (с. 207 и сл.), в которой на с. 208 приведены многочисленные тексты, содержащие цитаты из Лк. 2, 14, — но ссылка на источник отсутствует; то же самое и в [51]. Вероятно, в последнее время известному переосмыслению подвергается именно библейская лексика. Так, В. Л. Виноградова настоятельно потребовала полностью расписать на карточки лексику Ветхого и Нового Завета, что, по ее мнению, является необходимой предпосылкой для успешной подготовки словарей древнерусского языка: «Это совершенно необходимо для облегчения историко-лексикографической работы и предохранило бы составителей такого типа словарей от многих лексико-семантических ошибок, поскольку вся древнерусская литература и письменность наводнена цитатами, интерпретациями и толкованиями Библии» [52]. Ср. в связи с этим еще более резкое высказывание Ф. П. Филина относительно необходимости фундаментального словаря церковнославянской книжности русского извода: «Остается высказать еще одно пожелание, без которого не может обойтись русская историческая лексикология. Мы остро нуждаемся в обстоятельном словаре церковнославянского языка „русского извода“ (а еще лучше всех изводов) XI—XVII вв. Его источником была бы прежде всего вся богатая богослужебная литература (евангелия, библии, минеи и т. п.). Но об этом пока что приходится только мечтать» [53]. О современном состоянии церковнославянской лексикографии информирует А. М. Молдован [54].

Руск. Весьма распространено мнение, что церковнославянский язык был понятен; при этом ссылаются на довольно слабую в то время дифференциацию в развитии южно- и восточнославянского языков. Такая точка зрения находит, по-видимому, определенное подтверждение и в том, что южнославянские произведения относительно быстро приспосабливались к фонетическим и морфологическим особенностям восточнославянской восприимчивой среды. Удивительно, впрочем, как редко при таком противопоставлении восточнославянско-русских и южнославянско-церковнославянских особенностей принимается во внимание тот факт, что не грамматическая система, а лексика как важнейший носитель новой христианской культуры должна была вызывать действительные трудности понимания у народа, переходящего от язычества к христианству¹⁴. Как правило, русисты не придают значения вопросу, в какой степени подходили для восточнославянской почвы те принципы создания христианской лексики, которые были выработаны в ходе славянской миссии в Моравии и затем в Болгарии. Может быть, именно поэтому мы до сих пор не имеем монографического исследования о развитии христианской лексики в русском языке. Лексикологические последствия крещения Руси мало осознаются даже лингвистами. Это проявляется, в частности, в том, что различия в лексике между (языческим) восточнославянским и южнославянским церковными языками — так же, как и различия в фонетической и грамматической системе, — нередко выдаются за совершенно симметричные отношения. Так, новейший немецкий учебник по истории русского языка поясняет различия в лексике между «старославянским» и «древнерусским» языками следующим образом: «Наиболее существенны различия в лексике. Кроме тех, которые возникли из-за фонетических особенностей ... , имеется целый ряд лексических вариантов и одинаково звучащих слов с различным значением ... :

ст.-слав.	др.-русс.
выя — шея	шея — шея
пыри — грудь	грудь — грудь
грясти — идти	итти — идти
недѣля — воскресенье (день недели)	недѣля — неделя
животь — жизнь	животь — имение, имущество
село — поле	село — деревня

Число примеров может быть увеличено ..., но приведенных, по нашему мнению, достаточно, чтобы дать представление о лексических и семантических различиях. Следует отметить, что, несмотря на эти различия, общее для обоих языков преобладает и в лексике» [2, с. 96 и сл.; см. также с. 101 и сл., § 147].

Цитированный список¹⁵ сомнителен уже в том отношении, что *итти* «идти» ни в коем случае не является специфически восточнославянским словом, но встречается, конечно, и в старославянском корпусе:

	ст.-слав.	др.-русс.
«идти»	грясти	—
	итти	итти

Этот пример, таким образом, доказывает своей асимметрией скорее лишь большее число выразительных возможностей, которые существовали для

¹⁴ Ср. аналогичные замечания уже у А. Исаченко [1, с. 74—78].

¹⁵ Список заимствован из [56, с. 36].

значения «идти» в перенесенных на Русь южнославянских текстах. Вводит в заблуждение и значение, приписанное слову *недѣля*, поскольку это слово выступает как «воскресенье» и как «неделя» уже в старославянских текстах, так что второе значение, подобно примеру со словом *итти*, никак не может считаться специфичным для древнерусского языка. Кроме того, культурно-исторические основания заставляют думать, что восточные славяне едва ли могли знать до христианизации о таком понятии времени («неделя»), которое сложилось в иудаизме и христианстве. Следовательно, и здесь имеет место асимметрия, с двумя лагунами в древнерусской части:

	ст.-слав.	др.-русс.
«воскресенье»	недѣля	—
«неделя»	недѣля	—

Совершенно неприемлемым кажется мне, наконец, итог этого сравнения — вывод о том, что, несмотря на установленные различия, «общее для обоих языков преобладает и в лексике»¹⁶. Здесь замалчивается (или не замечен) тот факт, что в оппозиции «старославянский» и «древнерусский» противопоставляются скорее не два различных славянских языка, а семантические миры христианства и язычества, — миры, между которыми может быть лишь очень мало общего. Показательно, что представленные у Р. Эккерта различия в лексике относятся к словам и значениям, которые (за исключением едва ли точно истолкованного слова *недѣля*) вряд ли как-то связаны с новыми словами и понятиями, принесенными на Русь крещением, в качестве ярких неологизмов предшествующей южнославянской переводной книжности. Хотя у других авторов нет столь явного (как в приведенной цитате) пренебрежения семантическими проблемами, связанными с переходом к христианству, однако такие проблемы в наших современных учебниках по истории русского языка в целом недооцениваются. Это постоянно подтверждается при знакомстве с подобными трудами¹⁷.

Если учесть семантику при изучении церковнославянского языка, то, в частности, становится очевидным, что тексты, принесенные на Русь, прежде всего из Болгарии, были не в равной мере понятны или непонятны; в этом отношении обнаруживаются различные степени. Эти степени доступности текстов можно отчасти уподобить той шкале, по которой, например, М. Вейнгарт классифицировал языковое мастерство переводчиков старославянской письменности [61]. Наглядно-образные повествования Евангелий, вероятно, и на Руси вызвали относительно мало трудностей понимания — это так же очевидно, как и предположение, что более трудный синтаксис и многочисленные специальные термины в догматических или церковно-юридических сочинениях исключали такое непосредственное понимание¹⁸.

Все еще не нашел удовлетворительного ответа (хотя и было сделано множество попыток) вопрос о роли церковнославянского языка в образо-

¹⁶ Ср. упомянутую работу А. И. Горшкова [56, с. 37].

¹⁷ Подобное пренебрежение поддерживается тем, что и старославянская лексика ныне исследуется преимущественно с точки зрения формальных структур, например, деривации; см. работы Р. М. Цейтлин [57] или [58] и указанную там обширную литературу; см. также обзор [59]. Подробнее о лексических процессах, вызванных крещением Руси, см. [60].

¹⁸ Следует хотя бы упомянуть и о том, что наряду с объективной понятностью текстов надо принимать в расчет весьма большие различия в их понимании разными читателями (или слушателями). Эти различия объясняются социолингвистическими причинами.

вании современного русского литературного языка. Среди русистов в СССР и за его пределами наблюдается понятная заинтересованность в ясном освещении этого пока весьма спорного пункта, но следует все же определенно заметить, что удовлетворительного разрешения этой проблемы можно ожидать только в том случае, если мы не будем исключать из рассмотрения церковнославянские тексты. Распространенные подсчеты «церковнославянских элементов» в древнерусских оригинальных произведениях или в лексическом составе современного русского литературного языка, как правило, обнаруживают лишь то, что данный исследователь считает относящимся к церковнославянскому языку, причем главным образом на основании формальных признаков. Каким количеством слов, например, древнерусская письменность (в понимании «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.») или современный русский язык действительно обязаны корпусу употреблявшихся на Руси церковных текстов, заимствованных из южнославянской области, выяснится только тогда, когда их словарный состав будет полностью собран и его можно будет непосредственно сравнивать. Может быть, такой список объяснит и то, какие слова из этой сокровищницы вообще были способны активизироваться на Руси и по каким критериям происходил в дальнейшем выбор заимствований. Как скоропалительно все еще выносятся окончательные приговоры, обнаружилось в ходе современной дискуссии о значении в истории русского языка так называемого второго южнославянского влияния. Хотя А. И. Соболевский в своей известной работе 1894 г. показал, что в XIV и XV вв. на Русь попали рукописи с новыми переводами, и в приложении к ней опубликовал обширный список таких текстов ([62], а также [63]), внимание сегодня концентрируется прежде всего на графико-орфографических особенностях¹⁹. Новшества в лексике, появление которых в это время (как результат новых переводов) следует предположить и существование которых уже доказано, почти не принимаются во внимание. В значительной степени как *terra incognita*, намеренно не замечаемая исторической лексикологией, предстает и церковная письменность Московской Руси XVII в. А ведь она не только восприняла так называемое третье церковнославянское влияние, пришедшее из Западной и Юго-Западной Руси, но и, в свою очередь, создала тексты, историко-языковое воздействие которых заслуживает тщательного анализа уже потому, что эти тексты частью были напечатаны или, как свидетельствует количество сохранившихся рукописей, доходили до множества читателей иными способами. Наконец, было бы, конечно, нелишним пополнить упомянутый «Словарь русского языка XVIII в.», если бы мы могли точно знать, с каким лексическим фондом русские читатели знакомились в церковных изданиях XVIII в. и какая лексика в случае необходимости привлекалась для удовлетворения возросших духовных потребностей. Многие неологизмы в русской лексике XVIII в. можно объяснить принципом секуляризации церковнославянского словарного запаса — методом, который не кто иной, как М. В. Ломоносов, настоятельно рекомендовал в своем «Предисловии о пользе книг церковных» (1757). Как часто этот принцип применялся в то время, удастся, вероятно, уточнить лишь тому, кто рассмотрит в совокупности лексический материал, который можно было использовать для такого семантического переосмысления.

¹⁹ В этом смысле удивительно односторонними представляются выводы, которые сделал Д. Уорт [64]; см. в дополнение к этому мнение согласного с ним П. Редера [65].

Last not least для будущего более систематического описания языковых особенностей христианской книжности на Руси до конца XVII в. мне представляется необходимым обратить более пристальное внимание на различия между произведениями, обусловленные их жанровой принадлежностью. Такую лингвистически ориентированную жанровую типологию Н. И. Толстой разработал для книжности, бытовавшей у сербов до XVIII в., но она, пожалуй, могла бы быть применена, с небольшими модификациями, и к русским условиям. Н. И. Толстой различает всего 14 групп памятников:

- 1) конфессионально-литургическая литература
- 2) конфессионально-гимнографическая литература
- 3) агнографическая литература
- 4) конфессионально-учительная литература и патристика
- 5) панегирическая литература
- 6) конфессионально-юридическая литература
- 7) апокрифическая литература
- 8) историческая литература
- 9) повествовательная литература
- 10) паломническая литература
- 11) натуралистическая и философско-филологическая литература
- 12) светско-юридическая литература
- 13) деловая письменность
- 14) бытовая письменность ²⁰.

Эта жанровая схема плодотворна не только потому, что церковная книжность представлена здесь более дифференцированно, чем это зачастую дается в учебниках по истории русского языка. Прежде всего заслуживает внимания замечание Н. И. Толстого, что язык текста в значительной мере, иногда даже полностью, определяется влиянием четырех факторов: переводностью / непереводностью этого текста, местом, временем его возникновения и функциональным назначением. С помощью этих факторов можно представить цитированную последовательность жанров в качестве ступенчатой пирамиды. На вершине ее как доминанта помещаются литургические тексты, имеющие наивысшую степень сакральности. Эти тексты составляют постоянный корпус переводов — раннего периода и, отчасти, общего регионального происхождения. Непосредственно следующие за ними жанры, напротив, характеризуются постепенно уменьшающейся степенью сакральности, или конфессиональности. При этом тексты 1—7 групп являются, в значительной степени, общим достоянием *Slavia orthodoxa* (они встречаются как в Сербии, так и на Руси). Для 1—6 групп характерно использование церковнославянского языка, в соответствующих местных вариантах, но здесь, по-видимому, тоже имеется, по крайней мере в сербской традиции, нисхождение — от очень строгой нормы в 1-й группе до все более слабо выраженной в 6-й, в соответствии с иерархией жанров. Остается открытым вопрос, подтвердится ли эта языковая иерархия, если ее применить к русской церковной книжности, более обширной и менее однородной, но стоило бы предпринять попытку такой верификации. Даже если окажется (и это весьма вероятно), что внутри выделенных групп текстов существует гораздо большая языковая вариативность, чем это допускается моделью Толстого, — с помощью тщательного анализа (например, в форме продольного среза

²⁰ См. [66, с. 19]; русские термины я цитирую по резюме [66, с. 24].

конкретного жанра ²¹⁾ мы могли бы узнать нечто весьма существенное о языковых последствиях крещения Руси, по сравнению с довольно общими суждениями о так называемых «текстах традиционного содержания», которые мы находим в описаниях истории русского языка.

3

Существенная связь между крещением Руси и историей ее языка определяется еще и тем обстоятельством, что в древности большинство проявлений растущего языкового сознания русских было очень тесно сопряжено с обсуждением актуальных религиозных и богословских проблем. Однако интерес языковедов по традиции закрепился на отдельных знаменитых памятниках древнерусской литературы, и это, вероятно, стало причиной того, почему до сих пор почти не принимаются во внимание некоторые из подобных взглядов на русский язык и его особенности. Но эти метаязыковые свидетельства весьма значительны для истории литературного языка, потому что возрастающее число их говорит о возникновении на Руси такой точки зрения на русский язык, которую Гарвин назвал *language loyalty, pride and awareness of the norm* (языковой лояльностью, престижностью и осознанностью нормы) и вполне обоснованно определил как необходимую предпосылку для всякого сознательного нормирования в истории литературных языков [68]. Свидетельства такого рода не являются особенностью Руси, но наблюдаются во многих европейских странах. И здесь можно привести лишь несколько примеров, поясняющих эту связь.

Насколько мне известно, самое раннее русское выступление в защиту местного языка встречается — хотя и мимоходом, но все же как важный аргумент — в пространном послании, которое, как утверждают, Великий князь Московский Василий II послал в Константинополь Патриарху Митрофану после отказа от Ферраро-Флорентийской унии в 1441 г. Пусть даже это послание, по многим признакам, является фальсификацией и было изготовлено около 1460 г. для борьбы с идеей унии. Однако и в этом случае невозможно опровергнуть тот факт, что в середине XV в. попытка догматического объединения восточной и западной церкви, в результате которого на Руси началась яростная полемика с латинянами и греками, дала повод к удивительно современно звучащей жалобе на греческих митрополитов, присылаемых из Константинополя и плохо знавших русский язык. Их упрекали в том, что они из-за незнания языка не могли ни вести душепопечительные беседы с верующими, ни участвовать в тайных (и потому, собственно говоря, исключавших присутствие переводчиков) совещаниях по политическим вопросам. Упреки проистекали, очевидно, из убеждения, созревшего за четыре столетия, что и высший иерарх Руси должен владеть языком страны ²².

Религиозную подоплеку имеет, по-видимому, и появление первой грамматики, приспособленной к условиям Руси, а именно перевода «*Arstina*» Донатуса, законченного Дмитрием Герасимовым в 1522 г. Воз-

²¹ Для такого сравнения наиболее пригодны тексты, которые, как, например, «Богословие» Иоанна Дамаскина, неоднократно переводились на славянский язык (см. [18, с. 95—98]). Первым анализом подобного рода является сопоставление трех авторитетных восточнославянских изданий Библии (Острожской Библии 1580/1581 гг., Московской Библии 1663 г., Елизаветинской Библии 1751 или 1756 г.), предпринятое С. К. Буличем [67].

²² См. [18, с. 81—83], а также подробнее об этом послании в недавней работе [69].

никновение этого учебника, вероятно, стоит в одном ряду с усилиями овладеть латынью (и греческим языком) при новгородском архиепископе Геннадии, который в конце XV в. стремился создать филологическое основание для богословского размежевания с еретическими движениями. В тексте этой грамматики не только применены к русскому языку правила (а иногда и примеры!) латинского оригинала, но и встречается ряд замечаний сопоставительного характера. В ней, таким образом, следует видеть первую сознательную попытку русского человека сделать эксплицитное описание особенностей своего родного языка. Так, Дмитрий Герасимов упоминает среди прочего яркую характерную особенность русского языка — использование категории одушевленности во множественном числе существительных [70]. Таким образом, изучение латинского языка, вызванное трудным положением православной церкви в Новгороде, обострило внимание к специфическим грамматическим структурам русского языка.

Кроме того, на формирование языкового сознания повлияли разногласия относительно исправления церковных книг на Руси. Говоря о XVI в., следует упомянуть прежде всего деятельность Максима Грека. Однако и защита русского языка в предисловии к Псалтыри Нила Курлятева (см. [43]), и решительный отказ от слишком простонародных выражений в церковных выписках у Зиновия Отенского свидетельствуют о том, что в это время на материале сакральных текстов впервые стали рассуждать о допустимости вариантовых средств выражения.

Наконец, книгопечатание в Московской Руси долгое время было исключительно делом церкви, и по ряду книг возникали острые споры относительно правильности текста, повлиявшие и на оценку языковых явлений. Благодаря типографскому тиражированию стало возможным единообразие всех экземпляров постоянно используемых книг. Это единообразие, которое современный лингвист рассматривает как весьма важное средство надрегионального распространения и закрепления лингвистических норм, явилось, по-видимому, для Московского Митрополита Макария решающим доводом для того, чтобы ввести такое техническое новшество, как книгопечатание, тем более, что требовалось восполнить нехватку книг, внезапно возникшую после завоевания Казани. Не случайно первые, еще не датированные московские издания появляются около 1555 г., вскоре после Стоглавого Собора (1551 г.), на котором много внимания было уделено ошибкам переписчиков, встречавшимся в литургических рукописях и дававшим повод к многочисленным вероисповедным заблуждениям. В колофоне московского «Апостола» 1564 г. также говорилось о порче текста невнимательными или недостаточным образованными писцами. Филологический спор о текстах предшествовал в 1627 г. изданию Катихизиса Лаврентия Зизания (так и не состоявшемуся); в ходе спора, среди прочих богословских проблем, выяснялась эквивалентность определенных греческих и славянских выражений (ср. [33, с. 20] и затем [71]). Также и в деле архимандрита Дионисия и Арсения Глухого (а они около 1618 г. намеревались исправить ошибочные переводы в текстах московских церковных изданий) мы можем иногда обнаружить даже следы тех грамматических пособий, откуда черпались правила и определения для доказательств и на основе которых уточнялись выразительные возможности славянских слов и словосочетаний (см. [72]). Если в это время (как уже и при Максиме Греке) именно церковная верхушка не могла воспринять филологические доводы, — то в староверческом движении 2-й пол. XVII в., напротив, как раз низы ссылались на традиционную

форму текстов и не приняли филологически обоснованных изменений в богослужении, предписанных сверху²³. Так как в Москве до конца XVII в., за редкими исключениями, издавались лишь церковные книги, представление о почти абсолютной правильности, по-видимому, связывалось у населения с печатным словом — в противоположность чреватой ошибками рукописи. Насколько распространено было такое представление, можно заключить из того, что царь Алексей Михайлович в 1675 г. издал «Указ об орфографии», в котором повелевал относиться более снисходительно к местным вариантам написания имен и титулов в частных прошениях. Этот очень важный для истории литературного языка документ или вообще не учитывается исследователями, или нередко интерпретируется неверно, потому что его церковная подоплека, как правило, не принимается во внимание. Указ царя свидетельствует не о терпимости к местным вариантам русского языка; он лишь не позволяет оценивать простые письма по тем же орфографическим меркам, что и церковные издания. Таким образом, не низкая грамотность вообще, а именно неправильное написание имен воспринималось как нечто неподобающее, и это, без сомнения, связано с тем, что с середины столетия в русской церкви по-новому (и большей частью по греческому образцу) упорядочивалось написание имен святых (см. [73]). В истории русского языка «официальное» разделение светской и церковной письменности обычно связывают с введенным в 1708 г. по приказу Петра I гражданским шрифтом. Но уже указ 1675 г. является по меньшей мере столь же интересным доказательством развития в России нормативно-языкового сознания, поскольку он точно так же разделяет две эти сферы, однако не с помощью упрощения графической системы, а благодаря менее строгому применению существующих орфографических норм. Даже в грамматике русского языка, написанной А. А. Барсовым в конце XVIII в., утверждается, что наилучшим образцом корректной орфографии и правильной акцентуации являются церковные издания [74], и таким образом проводится мысль, что между церковной и светской литературой имеется лишь количественное различие. Судя по этому, и более резкая, касающаяся принципиальных моментов функциональная дифференциация, вызванная петровской реформой алфавита (которую охотно истолковывают как явный признак обмирщения русской культуры в XVIII в.), не вытеснила церковные издания из языкового сознания русских — или же вытеснила их в значительно меньшей степени, чем можно заключить, исходя из традиционного молчания наших учебников по истории литературного языка относительно этой части книжности, бытовавшей в России того времени.

4

Особую роль играет христианская письменность и в истории грамматического описания и лексикографии у восточных славян.

Среди древнейших лексикографических текстов восточнославянской рукописной традиции Л. С. Ковтун выделила *с л о в а р и о н о м а с т и к о н ы*, *с л о в а р и с и м в о л и к и*, *с л о в а р и с л а в я н о - р у с с к и е* и *с л о в а р и - р а з г о в о р н и к и* [75]. Первая группа объясняет еврейские слова и имена в текстах Библии; вторая охватывает места

²³ Очень жаль, что при выборке фрагментов из «Жития» протопопа Аввакума для антологий и переводов, как правило, опускается филолого-богословская вводная часть, вследствие чего собственно автобиография, лишенная своего церковного фона, предстает в более светском виде по сравнению с авторским замыслом.

из Псалтыри, подлежащие аллегорическому истолкованию; в третьей находятся список славянских слов к переводу «Лествицы» Иоанна Лествичника, список слов из примечаний на полях («произвольников») к Апостолу, представляющих собой варианты перевода, а также подборка слов, являющаяся результатом исправления текста богослужебных мийей в конце XVII в. Словарем же в современном смысле слова является только «Речь тонкословия греческаго» XV в. из четвертой группы — тематически составленное собрание русско-греческих параллелей. Подавляющее большинство параллелей во всех других списках связано с конкретными произведениями употреблявшейся на Руси церковной письменности. Впрочем, эти толкования слов, первоначально совершенно неотделимые от текста, все же имели большое значение для развития общей лексикографии в Древней Руси. Об этом свидетельствует то, что они, расположенные уже в алфавитном порядке, в большом количестве содержались в рукописных «Азбуковниках» XVI и XVII вв., а также, как, например, список слов к «Лествице», вошли в печатные словари Л. Зизания (1596 г.) и П. Берынды (1627 г.). Во второй публикации Ковтун сделала доступными такие «Азбуковники» [76, с. 263—342]. Конечно, обнаружены еще не все источники этих, без сомнения, очень разнородных словарных реестров. Так, доля статей, которые связаны с церковно-религиозной книжностью, увеличивается, например, благодаря тому, что в этих «Алфавитах» среди прочего встречаются (как леммы) этимологии некоторых греческих имен, взятые из славянских кондакарей (на них в кондаках строится игра слов). Более ясным представляется церковная предназначенность «Толкования именам по алфавиту», приписываемого Максиму Греку. Это «Толкование» имен не является, как раньше полагала Ковтун, учебником греческого языка, построенным по «ономастическому принципу обучения»; оно, очевидно, должно было облегчить русским составителям гимнографических или агнографических произведений обыгрывание этимологии имен в качестве риторического приема [76, с. 313—349; 77, с. 201; 78]. Ранее предполагалось, что этот список имен преследовал светскую цель, но он, таким образом, имеет задачу чисто церковную — однако это не исключает, что «Толкование», как и другие подобные этимологические труды, оставило в XVII в. след и вне своей первоначальной области применения. В конечном итоге, и уже упоминавшиеся лексиконы Зизания и Берынды также являются словарями, которые должны были прежде всего служить лучшему пониманию церковных текстов. У Берынды эта цель зачастую явно обнаруживается благодаря точным указаниям на местонахождение слов в церковных произведениях; это имеет место как в основной части, так и в приложении — ономастике. Даже если мы сегодня и используем эти словари в качестве интересных описаний древнего лексического фонда, нам не следует забывать об их основном назначении — помочь при чтении Библии, литургических текстов или сочинений отцов Церкви. Принцип *Philologia sub specie theologiae* распространяется и на эти лексиконы, хотя их сегодня, как правило, «секуляризуют» в качестве классических образцов украинской лингвистики (см. из последних изданий [79]).

До сих пор явно недооценен, и даже остается почти не известным, вклад русской лексикографии XVIII в. в раскрытие значений церковной лексики. Если «Лексикон трезвучный» Ф. Поликарпова (1704 г.) и неоднократно издававшийся «Церковный словарь» П. Алексеева (1-е изд. 1773 г.) обычно привлекают к себе внимание исследователей, то обширнейшие собрания слов из библейских конкорданций странным образом

почти полностью преданы забвению²⁴. В свое время вышли из печати конкорданции к Псалтыри А. Кантемира (1727 г.), к Евангелиям и Деяниям апостолов И. Ильинского (1733 г.) и к Посланиям и Апокалипсису А. Богданова (1737 г.) (см. [82, с. 486 № 1385, с. 84 № 220 (и с. 210 № 597), с. 91 № 237]; а также [83, с. 20 № 27, с. 24 № 34 (и с. 34 № 54), с. 25 № 36]). Конечно, эти труды ныне имеют лишь историческое значение для богословской науки, поскольку они (еще) не учитывают текст Елизаветинской Библии (1751 г.), общепринятый в настоящее время, и содержат определенные филологические недостатки. Тем не менее они заслуживают признания хотя бы за осуществленную в короткий срок работу по сбору и систематизации материала. Эти трудоемкие компиляции — первые в России так называемые «словари авторов», включающие лексику определенного памятника насколько возможно полно. Они способствовали распространению в России знаний библейской лексики среди богословов и неспециалистов. Переиздания («Симфонии» Ильинского в 1762 г. и еще раз вместе с трудами Богданова и Кантемира в 1824 г.) позволяют сделать вывод об их популярности. В качестве удобных словарных списков эти симфонии стали источниками для «Церковного словаря» П. Алексеева²⁵, а также систематически привлекались при составлении знаменитого «Словаря Академии Российской» (1789—1794). Этим объясняется (можно сказать, чисто «техническими» причинами) присутствие большого числа библейских цитат среди подтверждающих речений этого словаря. Это до сих пор недостаточно оцененное обстоятельство по-новому освещает тесную связь, существующую между первым нормативным описанием русского лексического фонда и церковнославянским наследием России²⁶.

О последующем развитии в России лексикографии церковных текстов русисты в общем лучше осведомлены, потому что словари А. Х. Востокова и Г. Дьяченко, «Словарь церковнославянского и русского языка» или «Материалы» И. И. Срезневского еще и сегодня являются незаменимыми филологическими справочниками (см. [89—91]). Но следовало бы вспомнить о почти забытых библейских конкорданциях 1-й пол. XIX в., ведь с их помощью была сделана попытка представить в печатных списках, вслед за Псалтырью, лексический фонд и других книг Ветхого Завета. К сожалению, этот замысел остался незавершенным, так что в нашем распоряжении находятся лишь фрагменты. Уже Богданов в XVIII в. не смог довести до конца свою запланированную конкорданцию к Ветхому Завету. Так же и П. Гильтебрандту, автору образцовых конкорданций к церковнославянским Новому Завету и Псалтыри, не было

²⁴ См. умолчание о них у Р. М. Цейтлин [80] или у Е. Э. Биржаковой [81].

²⁵ Хотя М. И. Сухомлинов [84] и не называет эти симфонии среди источников, в действительности П. Алексеев включил в свой словарь отдельную статью с и м ф о н и я, в которой упомянуты доступные ему конкорданции, и, кроме того, неоднократно пользовался их данными.

²⁶ Среди источников «Словаря Академии Российской» симфонии обычно не называются. Не упоминает их ни М. И. Сухомлинов [85], ни И. Ф. Рудакова [86], хотя напечатанные конкорданции (как и ненапечатанная конкорданция иеромонаха Илариона) ясно указаны среди привлекаемых источников в записках «Начертание для составления Толкового словаря славяно-русского языка» и «Способ, коим работа Толкового словаря славяно-русского языка скорее и удобнее производиться может», задуманных в качестве инструкций для составителей (см. [87]). С подобным умолчанием встречаемся и в одной из последних публикаций по истории Академии Российской [88].

суждено завершить аналогичное описание Ветхого Завета ²⁷. Таким образом, и через тысячу лет после принятия христианства на Руси остается только удивляться, что до сих пор нет полного описания словарного состава церковнославянской Библии, особенно если иметь в виду давно созданные конкорданции к Вульгате, к Библии Лютера, к Септуагинте или к греческому Новому Завету.

О значении первых грамматик, возникших на восточнославянской почве, сегодня едва ли нужно особо говорить (по крайней мере в среде филологов), потому что их в последние годы усиленно изучали ²⁸ и некоторые из них благодаря переизданиям вновь стали доступными. Но современные исследователи зачастую ограничиваются тем, что рассматривают такие книги прежде всего как ступени развития грамматической мысли у восточных славян. Поэтому, вероятно, нелишним будет напомнить об условиях их возникновения, связанных с историей Церкви. Хотя, по-видимому, мы точно не знаем предысторию древнего грамматического трактата, бытовавшего в православном славянстве, — известного под названием «О восьми частях речи» (см. [96]), — все же можно с уверенностью говорить о причинах издания этого элементарного учебника. Он был издан в 1586 г. в Вильне в связи с тем, что православные христиане в польско-литовском государстве во 2-й пол. XVI в. опасались проникновения католицизма и протестантизма и пытались противостоять этому организацией систематического обучения ²⁹. Также и знаменитый львовский «Букварь» Ивана Федорова 1574 г. едва ли является «первой печатной восточнославянской книгой светского назначения», как представляет ее В. В. Нимчук в своем переиздании [97] ³⁰. В период славянского средневековья чтению учились большей частью по Часослову или Псалтыри, и содержащиеся в «Букваре» в качестве текстов для чтения молитвы и Символ веры ясно показывают, какой цели должно было служить овладение грамотой. Греко-славянская грамматика «Адельфотис» 1591 г., составленная и переведенная для школы Львовского братства, свидетельствует о стремлении укрепить положение православия на западе восточнославянской области с помощью углубленного познания своих греческих корней, и не случайно в конце этого издания помещен Никейский Символ веры [100]. Но для нашего времени характерно равнодушие к истории Церкви, вызвавшей к жизни первые филологические труды у восточных славян. Симптоматично, что вышедшее в 1975 г. в Киеве репринтное воспроизведение грамматики Зизания 1596 г. оборвано на первых строках толкования молитвы «Отче наш», завершающего книжечку [101] ³¹. Наконец, в предисловии к церковнославянской грамматике Мелетия Смотрицкого, перепечатанной в 1619 г. в Вильне, а в 1648 г. и

²⁷ См. [92, 93]. Обзор древних конкорданций помещен в [92, т. 1, с. IX—XI]; в нем следовало бы дополнительно упомянуть, что первая конкорданция на восточнославянской почве была напечатана уже Иваном Федоровым в 1580 г. (см. также статью [94], представляющую собой введение к мюнхенскому переизданию книги [92]).

²⁸ См. из числа новейших работ [95].

²⁹ См. [95, с. 30 и сл.]. Показательно, что в издании на полях помещены латинские термины; таким образом выявляется связь с западной школьной традицией.

³⁰ Книга совсем не была светской; это ясно уже из того, что переиздание Букваря, вышедшее без изменений в 1578/1580 гг., использовалось в Германии для знакомства с особенностями православного обряда (см. [98]). Тексты для чтения в издании 1578 г. имеют церковно-историческое значение еще и потому, что в них помещен Символ веры, в точности соответствующий греческому тексту, и, таким образом, предвосхищаются реформы Никона [98, с. 12, 14]. О дальнейшей традиции Букваря Ивана Федорова на восточнославянской почве говорится в статье [99].

³¹ Ср. полный текст в [102].

в 1721 г. в Москве, уже определенно сказано о том, что ее парадигмы в дефиниции должны послужить высшей цели. Не случайно, впрочем, и то, что эти грамматические сочинения вплоть до конца XVII в. привлекаются почти исключительно для экзегезы или для аргументации в богословских спорах.

В истории русского литературного языка остается почти не исследованной систематическая русификация церковной книжности, начавшаяся с конца XVII в. Конечно, в текстах, пришедших на Русь со славянского юга, с самого начала видны явные признаки графико-орфографического приспособления к привычному для восточных славян произношению³²; кроме того, довольно часто отдельные, явно непонятые слова и формы заменялись другими, по-видимому, более подходящими³³. Верно и то, что в новых переводах, — как, например, в тех частях, которыми была пополнена Генинадиевская Библия 1499 г. (см. [28]) или в творениях отцов Церкви, правленных Андреем Курбским во 2-й пол. XVI в., — церковнославянский языковой идеал воплощен не так, как можно было бы ожидать от подобных текстов. Но лишь позднее — насколько можно судить, с конца XVII в. — в Московской Руси наблюдается иной процесс: уже имеющаяся древняя книжность, для большей понятности, не только пунктуально исправляется, но и сплошь перерабатывается, вследствие чего возникает перевод с церковнославянского на (более или менее) народно-разговорный язык. Исходя из различного статуса таких церковных текстов, следует четко различать две группы.

Первая, относительно хорошо прослеживаемая линия развития касается русификации Библии или ее отдельных книг³⁴. Впрочем, на западе восточнославянской области, в Белой Руси и на Украине, начиная уже с XVI в. прилагали усилия к тому, чтобы язык Библии был понятен народу или по крайней мере приближался к народной речи. Но в Москве в это же время подобные попытки, даже в самых умеренных проявлениях (как у Максима Грека), всегда решительно пресекались. Подобно тому, как пражские и виленские издания Ф. Скорины или украинизированные Евангелие и Апостол возникли с учетом более ранних аналогичных книг, изданных в Чехии и Польше (см. [106]), так и первый русский перевод Псалтыри, сделанный Авраамием Фирсовым (1683 г.), восходит (что характерно) к польской Библии, а не к тексту Лютера, как полагали до сих пор³⁵. Не случайно именно иностранцы, приезжавшие с Запада, постоянно удивлялись тому, что русская Церковь не имела Священного Писания на народном языке, и как раз иностранцы способствовали созданию текста Библии, доступного для всех русских. Полный перевод на русский язык, подготовленный протестантским пастором Э. Глюком еще в 80-е гг. XVII в., пропал при взятии Мариенбурга русскими войсками в 1702 г.³⁶. Также и И. Пауз(е), сотрудник Глюка по Московской гимназии, по-видимому, занимался переводом Библии на русский язык. В противном

³² Начало русификации обнаруживается уже в древнейшей датированной восточнославянской рукописи — «Остромировом Евангелии» 1056/1057 гг.

³³ См. [103], где прослеживается традиция евангелий-апракос, или [76, с. 70—81] — здесь рассматривается исправление церковных текстов, проводившееся Максимом Греком.

³⁴ См. [104]; однако основной все еще остается работа [105].

³⁵ См. [107]; краткая версия в [108]. Между тем появилось издание Псалтыри [109].

³⁶ См. [34, с. 72 и сл.; 104, с. 129 и сл.]. См. далее новую публикацию [110]. О заслугах Э. Глюка перед русской культурой см. [110, с. 253—261].

случае едва ли можно понять, почему Г. Бужинский в 20-е гг. XVIII в. именно его привлек к работе над изданием шеститомной голландской Библии, выполнявшимся по приказу Петра I с добавлением параллельного русского (а не церковнославянского) текста (см. [34, с. 232 и сл.]). После смерти Петра этот его замысел, вероятно, не был осуществлен. Точно так же и подготовительная работа над русской Библией на народном языке, предпринятая в г. Галле (см. [111]), привела впоследствии лишь к изданию Елизаветинской Библии 1751 г. (на церковнославянском языке русской редакции). Следующие шаги были сделаны только в начале XIX в., когда по английскому образцу было основано Российское Библейское Общество (1813 г.), издавшее на русском языке в 1818 г. Новый Завет, в 1823 г. — Псалтырь и в 1825 г. — Пятикнижие. Этот широко задуманный план русификации (которому был положен конец официальным сожжением нескольких тысяч экземпляров Пятикнижия в 1825 г. и запрещением Общества в 1826 г.) сам по себе высветил серьезную проблему, а именно: отклонение от привычного церковнославянского текста в результате перевода с греческого. Обнаружилось казавшееся непреодолимым противоречие между православной догматикой, покоившейся на предании, и принципами филологической точности перевода. Оно дало о себе знать в еще большей степени в трудах позднейших переводчиков, таких, как Г. П. Павский и архимандрит Макарий (Глухарев), отодвинув до 1876 г. публикацию синодального перевода, завершающего прослеженную линию развития (см. [112]). Поздним возникновением русского текста Библии объясняется, почему русская библейская фразеология восходит к укоренившемуся за несколько столетий церковнославянскому тексту, подобно тому как немецкая — к тексту Лютера.

Другая группа текстов, планомерная русификация которых началась в XVIII в., по-видимому, не встречала (или почти не встречала) противодействия, возникавшего вследствие многовекового употребления церковнославянского текста и характерного для восприятия Библии в обществе. Творения отцов Церкви, которые бытовали в Древней Руси преимущественно в южнославянских переводах, начали распространяться в измененных редакциях и ранее XVIII в. Примерами таких неоднократно переведенных книг являются «Лествица» Иоанна Лествичника в двух версиях (см. [113]) или «Богословие» Иоанна Дамаскина, южнославянские переводы которых сделаны в X и XIV вв. Эти переводы конкурировали в восточнославянской области в XVI в. с текстом А. Курбского, выполненным по латинскому переводу, а в XVII в. — с московским изданием «Небес», вышедшим в 1665 г. в редакции Епифания Славинецкого (см. [18, с. 95—98; 114]). С. Керн в своей библиографии [115] кратко отразил основные переработки таких патристических текстов. Историки русского литературного языка до сих пор слишком мало интересовались этим очень обширным корпусом. Но именно тексты, переведенные неоднократно, позволяют получить наиболее важную информацию о языке периода их возникновения, причем соответствующий иноязычный первоисточник как *tertium comparationis* дает, в отличие от оригинальных произведений, прекрасную возможность для сравнения.

Начиная с XVIII в. в процессе русификации патристической литературы впервые появляется последовательная целеустремленность. Так, тогдашний оберпрокурор Св. Синода А. С. Козловский 9 июня 1763 г. представил императрице Екатерине II памятную записку из 22 пунктов, в которой, ссылаясь на аналогичный документ 1756 г., предлагал учредить переводческую контору, с собственной типографией, «для переводу

и печатания, как к церковному учению принадлежащих Святых Отец сочинений и церковных историй, так и к школьному учению и просвещению разума полезных книг» [116]. Важно отметить, что он подключает свой проект к двойной традиции. Во вступлении Козловский упоминает, с одной стороны, о том, что при царе Алексее Михайловиче патристическая книжность поощрялась патриархом Никоном («который немалое число ученых людей содержал на своем коште для перевода греческих Св. Отец сочинений»). С другой стороны, он говорит о ряде переводческих начинаний, имевших место при Петре I («который, о издании полезных Российскому народу книг неусыпное прилагая старание, содержал на жалованье при Печатном Московском Дворе, а потом при Синоде немалое число переводчиков, в трудах которых столько принимал участие, что и особливые, к наставлению их служащие издал указы, и сам все милостивейше подправлял их переводы»). Содержание программы, предложенной Козловским, продолжает обе традиции, поскольку речь идет о переводе греческих и латинских авторов, а именно «не токмо тех, которые содержат православное учение Церкви нашей и которых мы Св. Отцами почитаем, но и тех, которые к просвещению разума нашего и к школьному наставлению служат». В работах по истории перевода в России XVIII в. этот документ (в нем более десяти печатных страниц), к сожалению, не упоминается. Между тем он заслуживает внимания как вклад в профессионализацию переводческого труда в России: в нем содержатся требования к квалификации будущих переводчиков и конкретные организационные предложения. К этому времени в теории перевода уже были эксплицитно осознаны проблемы (в том числе и проблемы терминологические), которые приходится решать переводчикам-специалистам. В дальновидном проекте Козловского от кандидатов на переводческую службу требуется не только совершенное знание греческого и латинского языков, а также богословия и многих других наук, но и сила «в славенском и российском языках и красноречии оных». При этом бросается в глаза, что о нерешенных проблемах специальной лексики ничего не сказано. И все же можно утверждать, что ныне несправедливо забыто это важное начинание Российской Церкви, а именно — предоставить русским читателям творения отцов Церкви, светские книги и учебники в переводах, безукоризненных как по содержанию, так и по языку. Поскольку Козловский ушел в отставку в самый день представления памятной записки, его план не мог осуществиться и он даже не получил ответа. Однако в плане Козловского, по крайней мере применительно к светской литературе и учебникам, уже частично предвосхищаются идеи, которыми руководствовались Екатерина II при основании «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг» (1768 г.) и Н. Новиков, создавая «Общество, старающееся о напечатании книг» (1773 г.). Те же идеи позднее легли в основу работы комиссии по делам народных училищ (с 1782 г.). Проект Козловского предвосхищал также известное монументальное издание «Творения Отцов Церкви» (с 1821 г. или 1843 г.)³⁷. К сожалению, язык этих многочисленных переводов XIX в. до сих пор даже не пытались исследовать. То же самое относится и к тем отдельным патристическим текстам на русском языке, которые были изданы еще в XVIII в. или после 1917 г.³⁸. Таким образом, остается пока открытым вопрос, в какой степени святоотеческая литература является мостом от средневековой книжности к русскому языку но-

³⁷ Об истории «Творений» см. [115, с. 10—12].

³⁸ См. такой современный перевод в [117].

вого времени. Признаки этого определенно имеются: некоторые из отеческих сочинений XVIII в. были не просто переведены на русский язык с греческого оригинала — в них обнаруживаются следы старших славянских изводов. Так, в предисловии к русскому тексту «Небесной иерархии» Дионисия Ареопагита 1787 г. конкретно указана использованная рукопись Синодальной библиотеки. Но и в тех случаях, когда отсутствуют ссылки на привлекавшиеся источники, все же, вероятно, имело место — с оглядкой на предшествующий перевод (или переводы) — регулярное воспроизведение прежних выражений³⁹. В XIX в. языковая и текстологическая ситуация стала, по-видимому, еще сложнее: следует иметь в виду, что ученые издатели «Творений Отцов Церкви» не только учитывали достижения современной им патристики, но и, может быть, знали и привлекали западноевропейские, например, латинские, переводы.

С русификацией Библии и святоотеческой литературы тесно связаны две проблемы, на которые следует в заключение обратить внимание. Их нужно было бы рассматривать подробно, если мы хотим адекватно понять развитие русского языка в сфере религии и церкви начиная с XVIII в. С одной стороны, речь идет о формировании русского богословского языка, в особенности его терминологии, с другой (что, несмотря на некоторые точки соприкосновения, не есть то же самое) — о возникновении особого языка духовенства (д у х о в н о г о я з ы к а). Поскольку и по этим проблемам до сих пор почти нет серьезных научных трудов, обобщения едва ли возможны. Если оценить в целом историко-лингвистические работы, которые все же имеются, то, по-видимому, можно предположить, что и в этих функционально-стилистических, или социолингвистических, сферах русского языка едва ли прослеживается, по крайней мере без натяжек, прямое церковнославянско-русское преемство.

Может быть, и является слишком смелым недавнее утверждение, что в XVIII в. еще не было русского богословского языка и почти не было специальной русской богословской литературы. В подтверждение этого мнения было указано на то, что в духовных семинариях вплоть до XIX в. догматику преподавали преимущественно на латинском языке и по написанным на латыни учебникам (см. [30]). Русский язык практически не использовался в такой центральной для терминологии сфере, как догматика, что имело, без сомнения, (отрицательные) последствия для развития и распространения профессионально-богословской лексики. Однако если углубиться в проблему, в книжности этого периода можно увидеть все-таки больше богословских текстов, вопреки цитированному утверждению, — в особенности при учете не только печатных изданий (см. [118])⁴⁰, но и рукописей (см. [119]). Собственно, даже литургические тексты ц е р к о в н о г о к р у г а, — а их ежедневно пели и читали за богослужением, — по-видимому, весьма действенно, хотя и неивно, внедряли богословскую терминологию. Что же касается первых попыток систематизации важнейших терминов⁴¹, их можно, пожалуй, видеть в различных катехизисах, которые появляются на восточнославянской почве с XVII в. Их язык в целом и их лексика в частности исследованы пока недостаточно. Мне кажется, что в результате тщательного лексикологического изучения катехизисов (или подобных катехизисам произведений), напечатан-

³⁹ Лингвистические вопросы, связанные с подобными переводами с греческого на русский, сделанными в конце XVIII в. при посредничестве церковнославянского языка, мы рассмотрим в другом месте.

⁴⁰ Здесь не учтены старокириллические издания; они перечислены в [82, 83].

⁴¹ Об их учебном содержании см. [33]; об истории жанра — также [119, с. 73 и сл.].

ных на русском языке начиная с XVIII в., утверждение Э. Бринера может быть поставлено под сомнение. Слишком мало знаем мы до сих пор и о проповеднической литературе этого времени, а ведь и в ней содержится много терминов и зачастую даже представлены их ясные толкования. И вообще Церковь стремилась в вопросах языка идти в ногу со временем, о чем свидетельствуют переизданные во 2-й пол. XVIII в. проповеди Феофана Прокоповича, содержавшие отдельные примечательные нововведения (см. [120], а также [121]). Остается пока неясным, в какой степени эта тенденция прослеживается в языке всей гомилетики XVIII в.

Образование духовного языка, отчетливо противопоставленного общеупотребительному русскому языку, безусловно, представляет собой (по крайней мере в том, что касается теоретического обоснования) новшество лишь XIX в., которое, кстати сказать, во 2-й пол. того же века уже было утрачено. Это четкое разграничение русского языка церкви и русского языка светской жизни произошло прежде всего из-за множества специфических смысловых изменений, приведших к тому, что с XVIII в. церковнославянские слова в русском языке, сохраняя свое церковно-религиозное значение, приобретали еще и ярко выраженную светскую семантику. По мнению защитников особого духовного языка, слова с подобной секулярной семантикой не следовало вводить в церковные контексты. Таким образом, это движение есть пуризм, стимулированный религией. Его приверженцы стремились функционально оградить церковный язык и соответственно допускали употребление исконно церковной лексики лишь в ее первоначальном церковном значении [122]⁴².

Немалое число исследователей утверждает, что между церковнославянским и русским языками имеет место преемственность, но на самом деле в XVIII в. она была в значительной степени нарушена, причем даже в узкой сфере церкви и религии. Об этом наглядно свидетельствуют два указанных выше обстоятельства: роль латыни в Российской Церкви и судьба духовного языка, возвращение которого к старой языковой традиции оказалось запоздалым и безуспешным. Именно поэтому и в обобщающих трудах по истории русского литературного языка не следует упускать из виду те препятствия и трудности, преодолевая которые русская Церковь пришла к своему современному языку.

6

Наконец, нельзя забывать, что в Русской Православной Церкви церковнославянский язык остается языком богослужения и, если даже (или как раз потому что) он существует лишь в книгах церковного круга, следует все же посвящать ему самостоятельные лингвистические исследования. Соответствующая проблематика хорошо изложена И. Плэном (см. [123, 124]), а в диссертации Р. Матисена содержится богатая библиография вопроса [125], так что достаточно сослаться на эти труды. К сожалению, все еще нет полного словаря к текстам церковного круга⁴³, а их грамматическое описание в учебниках современного церковнославянского языка также чрезвычайно далеко от полноты.

⁴² Объявленная здесь [122] на с. 389 в примеч. 7 монография того же автора вышла в свет в 1990 г. под названием «Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века».

⁴³ Упомянутый выше словарь Г. Дьяченко [90] выполняет эту задачу лишь отчасти, равно как и конкорданции к Библии П. Гильтебрандта, к сожалению, не доведенные до конца.

Наш предельно сжатый обзор историко-лингвистической проблематики, связанной с крещением Руси, не может и не должен считаться исчерпывающим. На передний план были выдвинуты проблемы русистики, т. е. после рассмотрения языкового развития Киевского периода, общего для трех современных восточнославянских народов, мы ограничились областью Московской Руси, следовательно, в основном великорусского языка, и лишь попутно говорили о специфических отношениях в украинской и белорусской языковых областях. С точки зрения современного белорусского или украинского языка могла бы получиться несколько иная перспектива (например, при взгляде на осуществленную Св. Синодом в XVIII в. унификацию церковной печати) или потребовалось бы некоторое расширение проблематики (скажем, при рассмотрении особой роли польского языка в Западной и Юго-Западной Руси XVII в., о чем мы упомянули лишь вскользь). При всей сжатости нашего обзора мы стремились показать, что событие, тесно связанное с крещением Руси, — а именно, заимствование церковной книжности, бытовавшей в Болгарии, — имело разнообразные последствия для исторической судьбы и структуры русского языка. Эти последствия мы пока не можем оценить в должной мере, потому что в современных лингвистических исследованиях неоправданно отдается предпочтение оригинальной литературе, а заимствованным текстам и их восприятию восточными славянами уделяется мало внимания. Тысячелетие Русской Церкви должно подвинуть нас к восполнению того, чем так долго пренебрегали.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Issatschenko A. Geschichte der russischen Sprache. 1—2. Heidelberg, 1980—1983.
2. Eckert R., Crome E., Fleckenstein Chr. Geschichte der russischen Sprache. Leipzig, 1983.
3. Vlasto A. P. Linguistic history of Russia to the end of the eighteenth century. Oxford, 1986.
4. Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка. М., 1983.
5. Борисова М. Б. // ФН. 1984. № 2. Рец. на кн.: Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка.
6. Trösterová Z. // Československá rusistika. 1985. № 1. Рец. на кн.: Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка.
7. Trösterová Z. // Slavia. 1985. № 4. Рец. на кн.: Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка.
8. Keipert H. // RZ. 1984. № 2. Рец. на кн.: Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка.
9. Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. М., 1984.
10. Исаченко А. Ответ на вопрос № 3 Анкеты к IV МСС // ВЯ. 1958. № 3. С. 42.
11. Jedlička A. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1978.
12. Baum R. Hochsprache, Literatursprache, Schriftsprache: Materialien zur Charakteristik von Kultursprachen. Darmstadt, 1987.
13. Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
14. Hüttl — Foller G. Die trat/torot-Lexeme in den altrussischen Chroniken: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache. Wien, 1983.
15. Wort D. S. On «diglossia» in Medieval Russia // Die Welt der Slaven. 1978. 23.
16. Проблемы исторического языкознания. Вып. 3: Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
17. Успенский Б. А. История русского литературного языка. (XI—XVII вв.). München, 1987.
18. Keipert H. Russische Sprachgeschichte als Übersetzungsgeschichte // Slavistische Linguistik. 1981. München, 1982.
19. Keipert H. Geschichte der russischen Literatursprache // Handbuch des Russisten. Sprachwissenschaft und angrenzende Disziplinen. Wiesbaden, 1984. S. 456.

20. Hösch E. Griechischkenntnis im alten Russland // Serta slavica in memoriam Aloisii Schmaus. München, 1971.
21. История русской церкви Макария, митрополита Московского. Т. II. 3-е изд. СПб., 1889 (перезд.: Düsseldorf; The Hague, 1968. P. 191, 349).
22. Müller L. Russen in Byzanz und Griechen im Rus'-Reich // Journée bysantin. XIIIe Congrès International des sciences historiques à Moscou 22 août 1970. Bulletin d'information et de coordination. 5. Athènes, 1971. S. 110. Anm. 1.
23. Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. М., 1986. С. 4, 45.
24. Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV—XVII вв. М., 1977. С. 43.
25. Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // Исследования по русскому языку. Т. I. С. II. 1885—1895. С. 907—911 (перезд. отд. вып.: Codex slovenicus rerum grammaticarum. Berlin, 1896. München, 1968. S. 619—623).
26. Горский А., Невоструев К. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. I. М., 1855 (перезд.: Wiesbaden, 1964).
27. Евсеев И. Е. Гениадиевская Библия 1499 года // Тр. XV археологического съезда в Новгороде, 1911. 2. М., 1916.
28. Freidhof G. Vergleichende sprachliche Studien zur Gennadius — Bibel (1499) und Ostroger Bibel (1580/81). Wiesbaden, 1972.
29. Claus Cl. L. Die religiöse und theologische Bildungsarbeit der Russischen Orthodoxen Kirche // Die Russische Orthodoxe Kirche in Lehre und Leben / Hrsg. von Stupperich. R. Witten, 1966. S. 170.
30. Bryner E. Der geistliche Stand in Russland. Sozialgeschichtliche Untersuchungen zu Episkopat und Gemeindegeistlichkeit der russischen orthodoxen Kirche im 18. Jahrhundert. Göttingen, 1982. S. 15. Anm. 22.
31. Martel A. La langue polonaise dans les pays ruthènes. Ukraine et Russie Blanche. 1569—1667. Lille, 1938. P. 109—111.
32. Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII веках: Сводный каталог. М., 1958.
33. Hauptmann P. Die Katechismen der Russisch-orthodoxen Kirche. Entstehungsgeschichte und Lehrgehalt. Göttingen, 1971.
34. Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. Т. III. СПб., 1902.
35. Onasch K. Johann Hübner und Fedor M. Dostoevskij // Geschichte und Kultur Russlands in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Т. 2: Literatur, Wissenschaft und Bildung. Halle / S., 1983. S. 265—269.
36. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. I. М., 1963. С. 263, №№ 1670—1677.
37. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. Дополнения. М., 1975. С. 18. № 42.
38. Keil R. D. Gogol im Spiegel seiner Bibelzitate // Festschrift für H. Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986. Köln; Wien, 1986. S. 197.
39. Мецкерский Н. А. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности XI—XV веков. Л., 1978. С. 3.
40. Мецкерский Н. А. Проблемы изучения славяно-русской переводной литературы XI—XV вв. // ТОДРЛ. 1964. XX. С. 184.
41. Успенский Б. А. Древнерусские кондакари как фонетический источник // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1973.
42. Успенский Б. А. Архаическая система церковно-славянского произношения (Из истории литургического произношения в России). М., 1968.
43. Keipert H. Nil Kurljatev und die russische Sprachgeschichte // Litterae slavicae Medii aevi Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae // Hrsg. von Reinhart J. München, 1985.
44. Алексеев А. А. О социальной дифференциации русского языка в XVIII веке // Wiener slavistisches Jahrbuch. 1985. 31.
45. Podskalsky G. Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus' (988—1237). München, 1982. S. 4.
46. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. М., 1984.
47. Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР). М., 1986.
48. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. Дополнения. СПб., 1893—1912 (перезд.: М., 1958; М., 1988—1989).

49. Теория и практика русской исторической лексикографии / Ред. Богатова Г. А., Романова Г. Я. М., 1984. С. 256.
50. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи / Под ред. Аванесова Р. И. М., 1966.
51. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Т. I. М., 1988. С. 170.
52. Виноградова В. Л. Картотеки древнерусского языка и историко-лексикографическая работа // Вопросы практической лексикографии. Л., 1979. С. 46.
53. Филин Ф. П. Историческая лексикология и лексикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984. С. 22.
54. Молдован А. М. Палеославянская лексикография // Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970—1980 гг.): Итоги и перспективы. М., 1986.
55. Словарь русского языка XVIII века. Правила пользования словарем. Указатель источников. Л., 1984. С. 140.
56. Горшков А. И. История русского литературного языка. М., 1969.
57. Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. М., 1977. С. 297—309.
58. Цейтлин Р. М. Лексика древнеболгарских рукописей X—XI вв. София, 1986. С. 302—318.
59. Večerka R. Staroslověnština. Praha, 1984. S. 203—220, 230.
60. Keipert H. Die Christianisierung der Kiever Rus' als lexikologisches Problem // Beitrag zum Millennium—Symposium. Münster, Juli 1988.
61. Weingart M. Le vocabulaire du vieux—slave dans ses relations avec le vocabulaire grec // Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini. 1: Storia, filologia, diritto. Roma, 1939. S. 570.
62. Соболевский А. И. Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках. СПб., 1894. С. 17—22.
63. Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVIII веков: Библиографические материалы. СПб., 1903. С. 15—23.
64. Worth D. S. The «second South Slavic influence» in the history of the Russian literary language (Materials for a discussion) // American contributions to the Ninth International Congress of slavists. 1: Linguistics. Columbus, Ohio, 1983.
65. Rehder P. Zum Normproblem in der Sprache am Beispiel des «Zweiten südslavischen Einflusses» // Text, Symbol, Weltmodell. J. Holthussen zum 60. Geburtstag. München, 1984. S. 445.
66. Tolstoj N. I. Odnos starog srpskog knjiškog jezika prema starom slovenskom jeziku (U vezi sa razvojem žanrova u staroj srpskoj književnosti) // Naučni sastanak slavista u Vukove dane (1978). 8. 1. Beograd, 1982. S. 24.
67. Булич С. К. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. Ч. 1. СПб., 1893 (перезд.: München, 1986. S. 130—406).
68. Garvin P. L. The standard language. Problem-concepts and methods // Anthropological linguistics. 1959. 1.3.
69. Alternat der Kvazilsbulle von Ferrara — Florenz vom 6. Juli 1439 // Slavistische Linguistik. 1986. München. 1987. S. 266—270.
70. Keipert H. Die slavische Übersetzung des Photius — Briefes an Boris—Michael von Bulgarien. Gattungen in den Slavischen Literaturen: Beiträge zu ihren Formen in der Geschichte. Festschrift für A. Rammelmayer. Köln; Wien, 1988. S. 107—110.
71. Rothe H. Zur Kiever Literatur in Moskau. I // Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa. Bonner Beiträge zum 9. Internationalen Slavistenkongress in Kiev. Köln; Wien, 1983.
72. Jaksche H. Arsenij Gluchij — ein russischer «Philologe» des 17. Jahrhunderts // Anzeiger für slavische Philologie. 1985. 15—16.
73. Успенский Б. А. Из истории русских канонических имен (История ударения в канонических именах собственных в их отношении к русским литературным и разговорным формам). М., 1969.
74. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Подгот. текста и текстол. коммент. Тоболовой М. П. Под. ред. с предисл. Успенского Б. А. М., 1981. С. 82, 86.
75. Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи средневековья. М.; Л., 1963.
76. Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.
77. Ковтун Л. С. Термины стихосложения в русском азбучнике // Культурное наследие Древней Руси. Истоки, становление, традиции. М., 1976.
78. Keipert H. Nomen est omen. Etymologie als Denkform bei russischen Autoren des 17. Jahrhunderts. Sprache, Literatur und Geschichte der Altgläubigen // Akten des Heidelberges Symposiums vom 28. bis 30. April 1986. Heidelberg, 1988.
79. Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Київ, 1980.

80. Цейтлин Р. М. Краткий очерк истории русской лексикографии (словари русского языка). М., 1958.
81. Биржакова Е. Э. Лексикографические источники и их использование в Словаре русского языка XVIII в. // Проблемы исторической лексикографии. Л., 1977.
82. Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII в. М., 1968.
83. Вомперский В. П. Словари XVIII века. М., 1986.
84. Сузоминов М. И. История Российской Академии. I. СПб., 1874. С. 324.
85. Сузоминов М. И. История Российской Академии. VIII. СПб., 1888. С. 5.
86. Рудакова И. Ф. Словарь Академии Российской, 1789—1794: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1965.
87. Фонизин Д. И. Собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1959. С. 248.
88. Коломинов В. В., Фейнштейн М. С. Храм муз словесных (Из истории Российской Академии) Л., 1986. С. 27.
89. Востоков А. X. Словарь церковно-славянского языка. СПб., 1858—1861.
90. Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. Т. 1—2. М., 1899.
91. Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отдел. Имп. Акад. наук. 2-е изд. Т. 1—4. СПб., 1867—1868 (переизд.: Leipzig, 1972).
92. Гильтебрандт П. Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету. Т. 1—6. СПб., 1882—1885 (переизд.: München, 1988—1989).
93. Гильтебрандт П. Справочный и объяснительный словарь к Псалтири. СПб., 1898.
94. Keipert H. Zur Geschichte der kirchenslavischen Bibelkonkordanzen // Гильтебрандт П. Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету. München, 1988—1989.
95. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985.
96. Worth D. S. The Origins of Russian grammar. Notes on the state of Russian philology before the advent of printed grammars. Columbus, Ohio, 1983. P. 14—21.
97. Букварь Ивана Федорова. Київ, 1975. С. 87.
98. Grasshoff H., Simmons J. S. G. Ivan Fedorov's griechisch-russisch-kirchenslavisches Lesebuch von 1578 und der Gothaer Bukvar' von 1578—1580. В., 1969. S. 21—29.
99. Ботвинник М. В. Азбука Ивана Федорова и ее традиции // Иван Федоров: восточнославянское книгопечатание. Минск, 1984.
100. Adelphotes. Die erste gedruckte griechisch—kirchenslavische Grammatik. L'viv-Lemberg, 1591 / Hrsg. und eingel. von Horbatsch O. Frankfurt/Main, 1973.
101. Лаврентій Зизаній. Граматика словенська / Підг. факс. вид. та дослідж. Німчука В. В. Київ, 1980.
102. Laurentij Zizanii. Grammatika slovenska. Wilna, 1596 / Hrsg. und eingel. von G. Freidhof. Frankfurt/Main, 1972. S. 90—93.
103. Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
104. Рижский М. И. История переводов Библии в России. Новосибирск, 1978.
105. Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899.
106. Толстой Н. И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII в.) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. М., 1963. С. 241.
107. Исаченко-Лисовая Т. А. Псалтирь Авраамия Фирсова 1683 г. Особенности языка и перевода // ИАН СЛЯ. 1984. № 3.
108. Исаченко Т. А. Фирсов Авраамий Панкратьевич (XVII в.) // ТОДРЛ. 1985. XL. С. 178.
109. Псалтирь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова / Подг. текста, составление словоуказателя и предисл. Целуновой Е. А. München, 1989.
110. Топоров В. Н. Эрнст Глюк, немецкий подвижник латышского и русского просвещения // Балто-славянские исследования. 1984. М., 1986.
111. Winter E. Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert. В., 1953. S. 243—254.
112. Bryner E. Neuere russische Bibelübersetzungen // Unser ganzes Leben unserem Gott überantworten. Studien zur ostkirchlichen Spiritualität. Fairy von Lilienfeld zum 65. Geburtstag. Göttingen, 1982.
113. Прохорова Г. М. Лествица // ТОДРЛ. 1985. XXXIX. С. 253—258.
114. Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der kirchenslavischen Übersetzung des 14. Jahrhunderts / Hrsg. von Weiher E. unter Mitarbeit von Keller F. und Miklas H. Freiburg i.Br., 1987.
115. Kern C. Les traductions resses des textes patristiques. Guide bibliographique. Chevetogne; Paris, 1957.
116. Гаверилова А. В. Очерк истории С.-Петербургской Синодальной типографии. Вып. I. 1711—1839. СПб., 1911. С. 191—203.

117. Псевдо Дионисий Ареопагит. О божественных именах. Перевод иг. Геннадия. Buenos Ajres, 1957.
118. *Röhling H.* Beobachtungen am russischen theologischen Buchdruck des 18. Jahrhunderts // Festschrift für W. Gesemann. Bd 3: Beiträge zur slavischen Sprachwissenschaft und Kulturgeschichte. Neuried, 1986.
119. *Rothe H.* Religion und Kultur in den Regionen des russischen. Reiches im 18. Jahrhundert. Opladen, 1984.
120. *Кутина Л. Л.* Феофан Прокопович. Слова и речи. Проблема языкового типа // Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981.
121. *Кутина Л. Л.* Феофан Прокопович. Слова и речи. Лексико-стилистическая характеристика // Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Л., 1982.
122. *Жуков В. М.* Лингвистическое благочестие в первой половине XIX века (из истории размножения литературных языков в послепетровскую эпоху) // Wiener slavistischer Almanach. 1984. 13: Festschrift für G. Hüttl — Folter zum sechzigsten Geburtstag.
123. *Plähn J.* Das moderne russische Kirchenslavisch als linguistischer Gegenstand // ZfPh. 1975. 38.
124. *Plähn J.* Der Gebrauch des modernen russischen Kirchenslavisch in der Russischen Kirche. Hamburg, 1978.
125. *Mathiesen R.* The inflectional morphology of the synodal Church Slavonic verb. Ann Arbor, 1972. P. 444—497.